

У моего первого возлюбленного желтые зубы. Мне два года, два с половиной, и я смотрю на него во все глаза. Он пробирается сквозь зрачки прямо в сердце маленькой девочки и там устраивает себе нору, дом, логово. Мой первый возлюбленный и сейчас там, в эту самую минуту, пока я с вами тут разговариваю. Никто так и не сумел с ним сравниться. Никто не сумел проникнуть настолько глубоко. Я впервые влюбилась, когда мне было два года, — в самое благородное существо из всех возможных: после ни один не сможет с ним тягаться, никто и никогда не займет его места. Мой первый возлюбленный — волк. Настоящий волк, с мехом и запахом дикого зверя, с зубами, желтыми, как слонобая кость, с глазами, желтыми, как мимоза. Отблесками желтых звезд на горе, поросшей черной шерстью.

Мои родители с криком выскакивают из фургона, сейчас ночь, другие фургоны один за другим освещаются, выходят все: клоун, наездница, жонглер, женщины, другие

дети, в ночных рубашках, в пижамах или полуголые, все зовут меня, опускаются на корточки и заглядывают под грузовики — посмотреть, а вдруг я там спряталась, заигравшись, да так и уснула, такое уже не раз случилось. Они расходятся по городской площади, снова зовут, уже даже не зовут, а кричат, в соседних домах начинают зажигать свет, люди злятся, возмущаются тем, что кто-то нарушает тишину, грозятся вызвать жандармов. Находит меня моя тетушка. Она подбегает то к одному, то к другому, умоляет всех замолчать, показывает жестами, чтобы бесшумно следовали за ней. И вот цирк в полном составе приближается к клетке: дверца приоткрыта, я лежу на соломе, позолоченной от мочи, глаза закрыты, детская головка покоится на брюхе волка. Я сплю. Сплю невинным безмятежным сном.

Волк был родом из польских лесов. Его выставляли на показ, чтобы завлекать зрителей, пока идет установка шатра. Ни в одном номере он не участвовал. Волки дрессуре не поддаются. Люди приводили детей взглянуть на черного принца из волшебных сказок, на надменного зверя. Им не раскрывали правды о том, что волк этот безобиднее кролика, что наездница кормит его с руки и что в этой горе из меха и звезд нет ровным счетом ничего страшного — даже ворчливого волчьего рыка ни разу никто от него не слышал. Над клеткой повесили табличку, где красными буквами написали: волк

из краковских лесов. Табличка пугала людей куда больше, чем само животное, спящее в глубине клетки. Но они были довольны — как и предполагалось, большего им не требовалось. Мы боимся названий. То, чему нет названия, — это для нас ерунда, этого вообще не существует.

Итак, сбегались все без исключения — и стоят полукругом перед картиной «Девочка и волк». Ладно, ничего ужасного не происходит, но все же существуют границы дозволенного, мой отец приближается, входит в клетку, и, когда наклоняется, чтобы подхватить меня на руки, волк поднимает голову — одну только голову, живот и лапы остаются неподвижны, как будто он боится меня разбудить, — и впервые в жизни вдруг рычит и оскаливает свои пожелтевшие зубы. Отец предпринимает еще одну попытку, волк рычит громче и отчетливее, скалится, теперь обнажая и десны. Отец отступает, возвращается к остальным. Они советуются, раздумывают. Укротитель говорит: это моя работа, давайте пойду я. Та же реакция — оскаленная пасть. Они решают подождать. В полной тишине проходит час, другой, третий. Толпа не расходится, все стоят перед клеткой, дрожа от холода, и ждут, когда волк уснет. Эта сцена длится до самого утра. Волк до рассвета стережет мой сон. А когда моей кожи нежно касаются первые лучи холодного света и я открываю глаза, потягиваюсь и начинаю подниматься на ноги, волк осторожно отстраняется и удаляется в другой

конец клетки, чтобы предаться заслуженному отдыху. Я выхожу не сразу. Смотрю на остальных, стоящих за решеткой, разглядываю их бледные лица, смеюсь и напеваю, отдохнувшая и полная сил после безмятежного сна. Меня хватают, дважды шлепают по попе и на неделю запирают в фургоне.

С тех пор за мной присматривают. По десять раз на дню проверяют замок на клетке. Запретить мне часами сидеть перед клеткой они не могут. Стоит им ослабить бдительность, как я тут же просовываю между прутьев руки и позволяю волку их лизать. По вечерам перед сном отец непременно должен отнести меня, уже одетую в пижаму, к клетке, чтобы я могла несколько минут посмотреть в глаза цвета желтого солнца, горящие в чернильной ночи, податься вперед и раствориться в них.

Волк умер неподалеку от Арля. Мне было восемь лет. Мне сообщили о его смерти как могли осторожно — так, наверное, оповещают генерала о серьезном поражении его войск. Я ничего не сказала. Наш цирк остановился не доезжая до Арля, на свалке, расцвеченной маками. Мужчины достали лопаты, и я, возглавив шествие, выбрала самый окровавленный маками уголок, там вырыли яму, я повздорила с мамой, в конце концов она сдалась и мне уступили: в яму положили мою пижаму — завернули в нее волка.

Еще не видя ее лица, я уже ловлю запах. Еще не почувствовав запаха, слышу звук шагов по гравийной дорожке. Это шаги важной дамы: туфли на шпильках, походка решительная, нервная, цок-цок, цок-цок. А потом — тишина, аромат фиалок и белого табака, ее лицо, склонившееся над моим, и хриплый голос, в глубине которого угадывается улыбка: что ты тут делаешь, малышка?

Тут — это в восьми или пятнадцати километрах от Арля. Мой волк покойся чуть выше по реке. Или чуть ниже. Я шла несколько часов, но так и не отыскала свалку с маками. Вышла вечером, после представления. Маме сказала, что в эту ночь, первую после смерти волка, я хотела бы поспать в фургоне у наездницы. Из нашего фургона я вышла в пижаме — в новой пижаме, потому что старая была теперь под землей. Поцеловала родителей, спустилась по двум ступенькам, закрыла дверь осторожно, чтобы не разбудить близнецов. Сделала вид, будто

иду к наезднице. Никто на меня не смотрел. Все были уже в постелях или перед телевизором. Я уселась за клеткой львов и стала ждать: час, два. До глубокой ночи. Когда я отправилась в путь, в пижаме и домашних тапочках, львы спали. Цирк расположился на окраине Арля, и через километр я уже оказалась в сельской местности. Дел у меня было всего-то на полчаса: попрощаться с волком и украсить его могилу ворохом цветов и фруктов.

Из-за того, что небо было угольно-черным, цветы я смогла собирать только придорожные и не такие роскошные, какие себе представляла. Что же до фруктов, то их я воровала в садах, мимо которых проходила, и всякий раз это сопровождалось громким собачьим лаем.

Умершим предстоит долгий путь. Им необходима еда. Я не хотела, чтобы мой волк питался одними лишь маками. Я не сомневалась: все, что растет на моем пути, придаст ему сил.

Первыми устали руки. Мое подношение становилось все тяжелее и тяжелее. На входе в деревню одуванчики, персики и маргаритки оттягивали руки так, будто были отлиты из свинца. Я приняла решение передохнуть, перебралась через ограду и улеглась на каменной скамье, после того как окинула взглядом дом: ставни закрыты,

собак нет, можно спокойно поспать здесь немножко. На этой скамье она меня и нашла.

Что ты тут делаешь, малышка? Прежде чем ответить, я внимательно вглядываюсь в ее лицо. Толстая дама. У толстущек всегда самые милые лица. Я смотрю в ее миндалевидные глаза, на ее фарфоровые щеки и отвечаю, не слыша собственного голоса: меня зовут Прюн. Прюн Армандон. Вы не могли бы мне подсказать, где я нахожусь? Наверное, случилось то же, что и той ночью: я хожу во сне, это часто со мной бывает, отец мне рассказывал, мы живем с ним вдвоем, будьте добры, сообщите ему завтра, сегодня его нет дома, отец работает, он сейчас в дороге. Она улыбается, бросает беглый взгляд на цветы и фрукты, кучей сваленные на скамье рядом с моей головой, как будто подушка. Пижама на мне подтверждает мою историю, и женщина верит. Она берет меня за руку и ведет в дом. Ты уверена, что с твоим отцом нельзя связаться прямо сейчас? Да, уверена. Мой отец — водитель грузовика. Он возит животных на бойню. Сегодня утром уехал в Испанию за быками. Сейчас он, скорее всего, в Бельгии. Завтра вернется. Мы живем на улице Четырех Роз, рядом с мэрией в Арле. Я, наверное, далеко забрела во сне, я очень устала, можно я переночую сегодня у вас?

Меня будит птица. По крайней мере, мне кажется, что это птица. А потом я замечаю: птица говорит по-немецки, очень странно. Птица — это Шуберт. Шуберт порхает по всему дому. Без остановки залетает в каждую комнату. Я выхожу из спальни, хозяйка дома ведет меня на кухню, готовит мне завтрак. Я позвонила в жандармерию, попросила, чтобы они предупредили твоего отца, они мне перезвонят. От нее пахнет одеколоном и все тем же белым табаком. Она говорит точно так же, как поет птица: без остановки. Я зачарованно слушаю не слушая. Я уже поняла: людей любишь либо сразу, либо никогда. Ее я полюбила сразу. Она медсестра. Она нашла меня в своем саду, когда возвращалась со смены. Она всем без разбору делает уколы днем, а в экстренных случаях и по ночам. Деньги за уколы обращаются в пластинки. Дом весь оборудован: Вагнера ставят в гостиной, и золото Рейна тут же заполняет спальни, кабинет и гостиную благодаря колонкам, которые спрятаны в каждой комнате. Так, объясняет она, я хожу, ем, сплю и живу под эту музыку. У других-то в доме есть кошки или мужья. А у меня — Вагнер, Равель и Шуберт. Вездесущие и проворные, как кошки. Впрочем, муж у меня тоже есть, настоящий, пойдем покажу. Она берет меня за руку и подводит к приоткрытой двери: там спальня с очень высокой кроватью, накрытой красным одеялом, а под одеялом — очертания тела. Она приглашает меня войти в комнату. Ты его не разбудишь, он принял

успокоительные и раньше двух часов дня не поднимется. Я подхожу поближе, мне немного страшно. Я вижу лицо, вдавленное в подушку. Поспешно возвращаюсь в коридор. Медсестра смотрит на меня так, будто сделала мне самый прекрасный подарок на свете. Понимаешь, малышка, это он привил мне вкус ко всей этой музыке. Он — кондитер, сейчас на пенсии. Я встретила его во время обхода, он был одним из моих первых пациентов. У нас оказались похожие профессии: мы заботились о людях, он был рядом, когда они смеялись, я — когда они плакали. Он страдал меланхолией. Ты знаешь, что это такое — меланхолия? Ты видела солнечное затмение? Вот это меланхолия и есть: луна, которая заслоняет сердце, и сердце, которое больше не светит. Ночь среди белого дня. Меланхолия — это слабость и темнота. Он излечился наполовину: тьма ушла, но слабость осталась. Муж создавал великолепные торты, настоящие соборы из шоколада. Он до сих пор иногда печет их для меня. Если ты останешься у нас до вечера, я попрошу его испечь для нас слоеный торт. Знаешь, малышка, кондитерское дело и любовь очень похожи: для обоих важна свежесть и легкость, а еще — чтобы все ингредиенты, даже самые горькие, доставляли удовольствие.

Я понимаю не все, что она мне говорит. Точнее, я вообще ничего не понимаю, я слушаю ее голос, сквозь который

пробиваются птицы, и вдруг хохочу. Она смотрит на меня не удивленно, а даже радостно.

Перезванивают из жандармерии. Никакого Армандона в адресной книге нет, нигде нет. Я молчу, хмурюсь. Мне так хотелось бы остаться тут еще на несколько часов, с этими немецкими птицами. Я впервые в жизни слышу такую музыку. *Lieder**. В этом рокоте можно прямо разгуливать. В нем ты свободен, весел, и никакая там луна не заслонит твое сердце.

Родители наконец обнаружили мою пропажу. Один звонок в жандармерию — и вот у них уже есть адрес медсестры, и цирковая труппа, отправившаяся было в следующий город, поворачивает назад и въезжает на улицы деревни. Они звонят в дверь, входит мой отец, говорит в прихожей с медсестрой, раскрывает ей мое настоящее имя, молча берет меня на руки, благодарит медсестру и затем забрасывает меня в фургон, все так же молча. Мне не суждено попробовать слоеный торт от меланхоличного кондитера.

Я так с тех пор и не попала в окрестности Арля. Я знаю: мертвые не где-то там, где смерть, я знаю: мертвые — в том мире, который от нашего отделяет лишь тонкая

* Песни, романсы (нем.) — Здесь и далее примечания переводчика.

завеса света, и иногда я вижу, как в щель сияющей портьеры просовывается волчья голова, я улыбаюсь и в этом золотистом свете заглядываю в желтые глаза.

Убегать я начала после смерти волка. Так, по крайней мере, утверждают мои родители. Я же думаю, что страсть к побегам у меня появилась гораздо раньше. Просто первое время ее никто не замечал. Часами любоваться тлеющим огнем волчьих глаз — все равно что бежать на край света. И сегодня, в этой маленькой комнате с белыми стенами, если мне хочется пуститься в дорогу, я подхожу к окну и долго смотрю в небо — как можно дольше, пока не распознаю в нем нечто, отдаленно напоминающее тепло и нежность волка. Я и в лица своих любовников всматривалась как в этот кусочек неба. И всякий раз искала в них одно и то же: только волк в человеке вселяет в меня спокойствие. Я знаю, что творилось в Польше в тысяча девятьсот сороковом — тысяча девятьсот сорок пятом. Мне рассказывала об этом бабушка: у каждого свои сказки на ночь, своя Синяя Борода. Я знаю, как они поступали с евреями, цыганами, гомосексуалами и остальными — это могли сделать только люди, ни один волк на такое не способен.

На земле живет три человеческих племени: племя кочевников, племя оседлых и дети. Я помню своих братьев-детей и своих братьев-волков, я по-прежнему одна из них по мечтам и по крови.

Итак, я начинаю рождаться к двум — двум с половиной годам, в колыбели у волка. Что происходит до этого — не знаю, не могу знать. До этого я выжидаю. Обо мне заботятся родители, дают мне сколько надо молока, хлеба и улыбок. Когда я говорю «родители», имею в виду не только отца и мать. Мой отец — разнорабочий в цирке. У него мускулистые плечи, сильные запястья и черные ногти: когда мне хочется вспомнить его, первым в воображении всплывает не лицо, а плечи, запястья и руки: все то, что нужно, чтобы носить меня — едва ли бóльшую тяжесть, чем огромные разноцветные мячи, которые вращаются под лапами у медведя. Отец всегда потный, вечно копается в моторе, лежа под кабиной грузовика, или движется будто призрак под сложенной тканью шатра, постоянно таскает ящики, покрывки, доски. Я для него отдых. Устав поднимать бесчисленные тонны всякой всячины, он смеясь подхватывает меня, подбрасывает в воздух мое сердце весом несколько граммов, ловит уже у самой земли и оживляет поцелуями, сладостно горькими, пропитанными потом. А вспоминая маму, я слышу ее смех. Ее смех перелетает от фургона к фургону. Чудо-птица. Да, это так: смех моей матери,

откуда бы ни раздавался, наполняет собою весь мир — подобное под силу лишь птичьему пению, что разом оживляет целый лес: от земли, усыпанной коричневой листвой, до неба, перепачканного серо-голубым.

Мать моя безумна, так я думаю. И желаю всем детям на свете, чтобы у них были безумные матери, это — лучшие матери, они как никто понимают дикие детские сердца. К моей маме безумие пришло из Италии, ее первой страны. В Италии все, что внутри, выносят наружу. Белье ли надо посушить или душу облегчить — они всё вывешивают на веревку, натянутую между окон, и по несколько раз на дню перетряхивают и перебирают на глазах у соседей, в бесконечной опере криков и смеха. Со стороны кажется, будто им весело, но это лишь со стороны. Итальянцы печальны, они так усердно имитируют жизнь, что не могут любить ее по-настоящему, от них пахнет смертью и театральностью — так говорит отец, когда хочет разозлить маму. Страна моего отца — ее названия я не знаю. Страна моего отца — молчание. Мой отец — воплощение всех мужчин, которые возвращаются вечером домой. Язык за зубами. Ни слова не вытянуть. Мой отец похож на волка: огонь, который бежит по его венам, до глаз добирается, но до губ — никогда.

Моя мать похожа на кошку, на воробья, на плющ, на соль, на снег, на цветочную пыльцу. Наездник влюблен в мою

мать. Клоун влюблен в мою мать. Укротитель влюблен в мою мать. В этом таборе все влюблены в мою мать, и она не возражает, ведь нет лучшего способа удержать рядом с собой моего отца, чем сообщать ему об этих пожарах, что пылают повсюду. Любовь очерчивает круг, похожий на арену цирка: под ногами — опилки, по ним мягко ходить босиком и они поблескивают под красной парусиной, раздуваемой ветром. Круг предельно прост: чем больше вы любимы, тем больше вас будут любить. Весь фокус — в самом начале: влюбить в себя в первый раз. Очень важно об этом не думать, не добиваться и не хотеть этого. Быть безумной, довольствоваться своим безумием, смеяться сквозь слезы, плакать сквозь смех, и в конце концов мужчины придут, потянутся на просеку безумия, прельстятся той, которая вовсе не стремится никому понравиться. И как только дело в шляпе, вы кружитесь и танцуете в этом круге любви и, чтобы не потерять равновесие, опираетесь на мужа, пока тот внимательно обводит круг глазами, не говоря ни слова.

Эти двое, которых я вам описываю, — лишь часть моих родителей. Бедные семьи оседлого племени, я всегда находила вас жалкими, жалкими ну просто до слез. Один отец и одна мать — как же этого мало. Для того чтобы сопровождать ребенка в плавании по морю его детства, родителей должно быть не меньше десяти или даже

двадцати. У меня именно так и было: когда собственные родители меня больше не устраивали, я стучалась в дверь к клоуну или к эквилибристке, на неделю или две выбирала себе других родителей. Я росла в тринадцати домах одновременно. Если кому-то хочется всерьез выяснить, когда я стала убегать, начать, пожалуйста, следует с этого.

Я забыла назвать вам свое имя. Ну что ж, меня зовут Аврора, вот так, теперь вы знаете все. Да нет же, шучу, меня зовут Белладонна. А еще: Мари, Людмила, Анжель, Эмили, Астре, Барбара, Аманда, Катерина, Бланш. Шучу-шучу, не могу удержаться. Чем серьезнее разговор, тем больше хочется смеяться — в этом я вся в мать. Имена — это серьезно. Фамилия сваливается вам на голову еще при рождении, с каждым годом она становится все тяжелее, как дождь, который моросит и впитывается даже в самую плотную одежду. Я очень быстро научилась придумывать себе имена. Жандармам это создавало трудности в поисках моих родных, а мне позволяло выиграть время. Мне вечно не хватало времени на то, чтоб заниматься своим главным и единственным делом: бездельничать. Смотреть, смотреть, смотреть. Люди, которые воображают, будто знали меня, могут при встрече говорить обо мне часами и даже не сообразить, что все они рассказывают об одном и том же человеке: я каждому представлялась новым именем, подбирала его для

каждого случая, словно платье или духи. И конечно, я никому не называла своего настоящего имени, да и что это вообще такое — настоящее имя? Мне всегда нравилась история о том, как Христос на своем пути обзаводился новыми друзьями, у каждого спрашивал имя и с невероятным нахальством говорил: теперь тебя будут звать так-то и так-то. Давать кому-то новое имя — это ведь все равно что вливать в человека другую кровь: акт любви, привилегия влюбленных. Для вас я выберу вот такое обобщающее имя, я только что примерила его перед зеркалом страницы и решила, что мне оно подходит: Фуга*. Это имя ближе всего моему сердцу и к тому же, между нами говоря, с ним можно составлять великолепные предложения. Вот например: «Малышка Фуга бросилась бежать по высокой траве».

Благодаря второй работе моего отца я частенько бывала на кладбищах. Кстати, именно там я и приистрастилась к литературе: могильные плиты очень похожи на книжные обложки. Та же прямоугольная форма. Та же сжатость указанной информации. А иногда — короткая фраза, как на красных рекламных лентах, которые надевают поверх обложки: ты в нашей памяти

* Fuga (лат.) — бег, от глагола *fugere* — бежать, убегать. В музыке фуга — это композиционная техника, при которой главная мелодия полифонического произведения «перебегает» из одного голоса в другой.

навсегда. Названием книги для умерших служит фамилия, она нужна, чтобы одним словом выразить их жизнь. Я хотела бы прожить такую жизнь, которую было бы невозможно выразить одним словом, жизнь, похожую на музыку, а не на мрамор или бумагу.

Но имя свое я вам все-таки, пожалуй, доверю. С именем проще, чем с фамилией, оно не так сковывает: Люси. Это имя происходит от слова «свет»*. А значит, мне всего-то и требовалось — никогда не сидеть на месте и следовать за неутомимыми перемещениями моего крестного — света.

Шесть утра, а я пишу. В гостинице тишина. Я здесь уже две недели. Искала такое место, где ничего не происходит. И нашла. Отель «Пчелы», рядом с Фонсин-ле-Ба, в департаменте Юра́. Мне нравятся пчелы. Я остановилась здесь, чтобы делать собственный мед из чернил, одиночества и молчания. Там, в Париже, меня наверняка повсюду разыскивают. Скорее всего, им позвонили из аэропорта и сообщили, что я исчезла. Съемки без меня невозможны — так они говорили. Просто поразительно, какую чушь мы способны нести ради того, чтобы удержать людей, — и поразительно, что люди верят в любую чушь, которую слышат. Моя дорогая, солнышко

* От лат. lux, lucis.

мое. Ты самая красивая, ты лучше всех на свете. Ты незаменима. И так далее, и тому подобное. Первый фильм очаровал критиков. У меня там была лишь роль второго плана, но все только обо мне и говорили. Второму фильму предрекали грандиозный успех. Съемки в Канаде. Но никакого второго фильма не будет. Я получила деньги за первый и подсчитала, что их должно хватить на три года в Юра. Может, даже на четыре. А там посмотрим. Я даже отсюда их слышу. Безответственная, инфантильная, капризная, невозможная девчонка. Правильное слово они подобрать не сумеют. Слово, которого нет в их словаре, потому что его нет в их жизни: свободная. С шести до семи часов утра я выбираюсь через окно чистого листа, ухожу и возвращаюсь после того, как обниму своего волка, после того, как воспользуюсь элементарным правом каждого человека, живущего на земле: исчезнуть, ни перед кем не отчитываясь о своем исчезновении. Писательство — одна из разновидностей этого права, слегка многословная, это правда, но зато какая удобная.

Я не одна. Со мной толстяк. Он говорит со мной, а я слушаю. Комната крошечная, но толстяку много места не требуется: ему хватает кассеты и магнитофона. Толстяк — это Бах. Иоганн Себастьян. Я вечно переименовываю тех, кто что-нибудь мне дает, а толстяк в мои лучшие годы дал мне очень многое. Вы видели портрет

Баха? Живот такой круглый, что наводит на мысли о беременной кошке. Должно быть, душа его брала пример с тела. Душа была такой же огромной, как и его живот, который вместил бы тысячи котят, за свою жизнь толстяк произвел на свет тысячи нот. Потребность создавать — свойство души, точно так же, как потребность есть — свойство тела. Душа — это голод. Со временем я научилась различать два типа творцов — только два, других не бывает: творцы тонкие и творцы толстые. Те, которые идут путем сокращения, утоньшения, легких прикосновений: Джакометти, Паскаль, Сезанн. И те, чей выбор — наращивание, утолщение, неутолимый голод: Монтень, Пикассо. И вот еще он — Бах — толстый-толстый-нот-объелся. Если я и предпочитаю его музыку всей прочей, то лишь потому, что она освобождена от сантиментов. Никакой скорби, сожалений и меланхолии: лишь математика нот, точная, как тиканье часового механизма.

Как жизнь, которая мерно направляется к выходу.

Мама начинает превращаться. Сначала я ничего не замечаю, разве что ее щеки еще вчера были молочного цвета, как луна, а сегодня — розовые, словно персики. Потом меняется взгляд: мама весь день моргает, будто что-то попало в глаза, и в них мелькает непонятная искорка, жаркий уголек, вроде того, который появляется, когда ждешь Рождества или когда выпьешь на ярмарке игристого вина.

Моя комната в фургоне — это что-то вроде ниши над кабиной грузовика. По вечерам после обряда посещения волка я забираюсь в постель и через овальное окошко, совсем крошечное, вырезанное в крыше фургона, смотрю в летнее небо. Я знаю названия звезд. И сколько им лет — тоже знаю. Когда клоун рассказывал мне об их возрасте, я почти не удивилась: звезды такие веселые, какими бывают только очень старые дамы. Я подолгу смотрю на них, пока не отяжелеют веки. Чем дольше наблюдаю за ними, тем ярче они сверкают — ведут себя,

как и подobaет кокеткам. Поэтому и в прибывающей красоте звезды-мамы я не вижу ничего странного: когда ты так обожаема, остается только возвращать миру свет, который он тебе дарит.

Беспокоиться я начинаю чуть позже, когда мамина красота, отразившись сначала на лице, переходит на тело и преобразуется в медлительность. Вообще-то мама всегда была медлительной. Когда она сообщала нам, что скоро ужин, мы с отцом знали, что это значит: ни один овощ еще не очищен, ни одна картофелина еще не брошена в котелок с водой, и вода эта еще не закипела, а есть мы будем часа через два — и то, если все пойдет хорошо. Но настолько медлительной я ее еще не видела. И к тому же толстой: до того толстой, что она больше не может работать кассиром и продавать билеты, будка стала для нее чересчур тесна. Меня поражает именно сочетание этих двух метаморфоз: толстая и величественная. Тяжелая и восхитительная. В цирке есть три слона. Два больших и один маленький. Боюсь, как бы мама не сравнялась в размерах с самым большим из трех.

Я понимаю и не понимаю, что происходит. В три года я становлюсь похожа на дом с двумя комнатами: в первой — играю и думаю, а во вторую входить себе не позволяю. Не позволяю потому, что прекрасно знаю, что в ней находится, — еще бы мне не знать, ведь все, что

там есть, я сама туда зашвырнула. Во вторую комнату, нижнюю, я сбрасываю то, что мне не нравится. Например, появление младшего брата.

Но, как говорится, беда никогда не приходит одна. Рождается младший брат, а следом за ним спустя несколько минут появляется еще один. Сразу две беды дрыгают руками и ногами, а их вопли, одному Богу известно почему, вызывают восхищение всего табора. Я называю их Плих и Плюх. Высочайшим указом я постановляю, что Плиху и Плюху дозволяется разместиться в моем королевстве — временно. Проходят месяцы. Я жду, наблюдаю. Я — жена волка и правительница Плиха и Плюха. Они изменили моих родителей, но в остальном почти все осталось прежним: нежность рук эквилибристки у меня на лбу, запах жимолости и вкус клубники, утонувшей в сливках, бормотание звезд и безмятежность моего волка, розовое очарование городков, в которые мы прибываем на рассвете, — нет, в самом деле, Плих и Плюх не так уж и сильно пошатнули мое королевство.

Мне семь лет, им — четыре года. Мне доверяют их на часок. Я созываю свою маленькую армию. Хосе, сына укротителя, и двух его кузин — Кларенс и Селию, дочек наездницы. Мы ведем Плиха и Плюха за церковь, к пруду для стирки. Мы решили, что пора бы

их покрестить. Оба малыша шагают во главе колонны, гордые тем, что занимают самые почетные места. Дойдя до пруда, мы читаем первые строки молитвы «Отче наш» и бросаем близнецов в воду, зеленую и пенную. Вскоре появляется мой отец, волосатые до плеч руки ныряют в воду и вытаскивают два орущих свертка, ладони, словно колотушки, раздают шлепки направо и налево. На завтра мы вынуждены предстать перед судом под куполом цирка. Взрослые сидят на зрительских трибунах. А нас ставят в центр арены и принимаются воспитывать. Звучит роковой вопрос: как вам вообще такое в голову могло прийти — «покрестить» их, так вы это называете? Ответ вырывается у всех одновременно: это все клоун. Это он рассказал нам о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и о голубе, который спустился тому на голову, мы хотели увидеть, как близнецам на головы сядет Голубь-Свитайдух, мы ждали его появления после купания. Все оглядываются на бедолагу клоуна. Карьера блестящего педагога оборвалась в один миг.

В каждом местечке мы останавливались не дольше, чем на два-три дня, священника за такой короткий срок не раздобудешь и в школу тоже не запишешься, поэтому наше образование, как и все остальное, было обязанностью семьи. Священное Писание нам преподавал клоун: обучал всему, что было необходимо, чтобы однажды, когда настанет час, мы могли принять причастие

в белом платье, как маленькие невесты Христа. Он собирал нас в своем фургоне на один час в неделю, вскоре после полудня, и открывал Библию. Иногда при этом он был в гриме и клоунском костюме. Я не видела в этом ничего странного, слишком привыкла видеть его таким, к тому же клоуны всегда внушали мне страх, или, если точнее, беспокойство. Да, я всегда волновалась за клоунов, всегда боялась, что они пропустят свой выход, что никто не засмеется их шуткам, мне казалось, что это куда страшнее, чем упасть с трапеции из-под самого купола. Клоунские номера жестоки, если присмотреться внимательнее — в них сплошная боль: упасть, подняться, снова упасть, зарыдать, изображать дурака, чтобы вызвать у всех невероятную злость, и, за секунду до того, как их злость тебя полностью раздавит, успеть превратить ее в смех. Мне казалось, его клоунский наряд прекрасно сочетается с историями из Евангелия. Он читал и иногда изображал прочитанное мимикой и жестами. Он так прекрасно показывал женщину с благовонным маслом: его руки становились гибкими, как ветви дерева, разноцветные рукава развевались, он показывал нам волосы этой женщины и как она склонялась перед Христом, как вытирала своими длинными-предлинными волосами ноги молодого человека.

После случая на пруду наша катехизация закончилась. В религиозном образовании мне предстояло остановиться

на этом месте — на ослепительном триединстве: масло, босые ноги, волосы.

О чем мечтают девочки, лежа в постели: о волчьих глазах — глазах волшебного принца, о святых — уязвимых, как клоуны, и о длинных-предлинных волосах, которые они однажды отрастят.

Четверть шестого часа нового дня. Я просыпаюсь и собираюсь как на праздник. Наспех совершаю туалет: мокрой мочалкой протираю лицо, душ приму ближе к вечеру, чуточку духóв, просматриваю содержимое гардероба, не могу определиться, наконец выбираю голубое платье и бегу к чистым страницам, как бежала когда-то к воде, уверенная и веселая. Два-три предложения, чтобы пощупать температуру, вода хорошая — и вот я окунаюсь в белизну, которая обволакивает меня со всех сторон, на поверхности удерживается только голова, я отталкиваюсь от стула и от стола, гостиница становится лишь точкой на берегу, я плыву, укачиваемая шорохом ручки по бумаге и черными волнами чернил, которые то накачивают, то отступают.

Я встаю рано, ложусь поздно. Усыпляет меня толстяк, и он же будит меня по утрам. Часы сна, которых мне не хватило ночью, я наверстываю после обеда. Все равно в дневных часах я никогда не видела смысла. А вот

утренние стали для меня другими. Я долгое время их избегала. Вставала с постели не раньше одиннадцати — к ужасу отца. Дочь вся в тебя, говорил он маме. Мать моя была невозможной соней. На рассвете поют птицы. Мой отец был из их числа. Теперь я задаюсь вопросом, не было ли это расхождение в часах подъема для моих родителей столь же серьезным, как и развод. Слушая толстяка, я поняла вот что: счастье не отдельная нота, а та радость, которая возникает у двух нот, когда они отражаются друг в друге. Несчастье — это когда звук при этом выходит фальшивый, потому что ваши ноты не гармонируют друг с другом. Самое страшное несоответствие между людьми — именно в этом, и больше ни в чем: в ритмах.

Я всегда инстинктивно узнавала тех, кто даже на отдыхе встает с первыми лучами солнца, и тех, кто может проваляться в постели целую вечность. Первых я боялась с раннего детства. И всегда опасалась тех, кто идет на штурм собственной жизни, как будто нет ничего важнее, чем выполнять дела — быстро и много. Моя мама была так любима, что ей не было надобности чем-то занимать все часы дня. Говорят, мир принадлежит тем, кто рано встает. И они всем своим видом показывают, что он — этот мир — принадлежит именно им, и страшно гордятся своей суетой. Но когда вы любимы, вам плевать на мир и нет надобности как-то участвовать

в его жизни. Моя мать купалась в потоке любви. Родители носили ее на руках. Мужчины ею восхищались. Ей ничего не надо было доказывать, ничего не надо было воздвигать. Она запросто могла безрассудно долго оставаться в постели. Моя мать не верила в мир, и в этом я — ее истинная дочь. Она верила лишь в любовь, а если ты не веришь ни во что, кроме любви, утро создано не для тебя, и ты остаешься под одеялом, потому что любовь — именно там. Или потому, что ее нет.

Если я и встаю теперь раньше птиц, то делаю это исключительно ради наслаждения. Перемещаюсь от постели к чернилам — и то и другое для меня отдых. У толстяка тоже так было: сколько бы тысяч нот он ни написал, он никогда не перетруждался. Партиты, кантаты, сонаты, мессы, концерты — все похожи друг на друга и все восхитительно повторяются, он никогда не выходил за пределы своей натуры и не верил в то, о чем распевают все эти ранние птички: надо себя заставлять, надо лезть из кожи вон — только тогда тебя заметят в мире. Толстяк беспрестанно спал, свернувшись калачиком, укрывшись нотами, обложившись мелодиями.

Смотришь на портреты Баха — и видишь не только толстого кота, но еще и кита.